

ДОКУМЕНТЫ И СУДЬБЫ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА
12.X.94 N41 (5521)

Лит. газета. — 1994. — 12 окт. — с. 6.

К 180-ЛЕТИЮ

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

На дне
военщины

Долгое время я надеялся, что из афганской войны к нам придет новый Лермонтов. Может быть, мои надежды еще сбываются. Но придет или не придет к нам новый Лермонтов, прежний жив и с каждым поколением воскресает и ему не страшны ни революции, ни контрреволюции, ни оттепели, ни заморозки, поскольку он взрастал на самом дне военщины и, даже убитый ею, ее одолев.

НАЗВАНИЕ я взял из пастернаковской строфы:

Ведь это там, на дне военщины,
Навек ребенку в сердце вкован
Облитель мукой облик женщины
В руках поклонников Баркова.

Страшно подумать, что стало бы с русской жизнью и литературой, если бы Лермонтов так и остался на дне военщины, одним из авторов коллективных юнкерских, самых что ни на есть барковских поэм — "Гошпиталья", "Петергофского праздника" и "Уланши".

Толстой, повторивший, возможно, не без влияния Лермонтова, его биографию — незаконченный университет, юнкерство и офицерство, — на склоне жизни писал:

"Военная служба вообще развращает людей, ставя поступающих в нее в условия совершенной праздности, то есть отсутствия разумного и полезного труда, и освобождая их от общих человеческих обязанностей, взамен которых выставляет только условную честь полка, мундира, знамени и, с одной стороны, безграничную власть над другими людьми, а с другой — рабскую покорность высшим себя начальникам.

Но когда к этому развращению вообще военной службы, с своей частью мундира, знамени, своим разрешением насилия и убийства, присоединяется еще и развращение богатства и близости общения с царской фамилией, как это происходит в среде избранных гвардейских полков, в которых служат только богатые и знатные офицеры, то это развращение доходит у людей, подпавших ему, до состояния полного сумасшествия эгоизма" ("Воскресение").

К счастью, Толстому повезло. Он служил вдали от двора, на Кавказе, потом в Севастополе, сумел выйти в отставку, прожил долгую писательскую жизнь и, по его собственному признанию, осуществил многое из замысленного Лермонтовым.

Лермонтов же об избавлении от военщины лишь мечтал. Письма 41-го года полны просьб похлопотать об отставке, а в самом последнем слышна безысходность. Не она ли толкнула его на бесмысленную дуэль?

Вообще, короткая жизнь Лермонтова — это непрерывная цепь разочарований: в друзьях, в женщинах, в учебных заведениях, в военной службе да и в "купленной кровью" военной славе.

Обратимся к военной славе. Долгое время я не понимал, как в последний свой год поэт мог написать такие, казалось бы, противоречащие друг другу стихи, как "Валерик", "Родина", "Прощай, немытая Россия..." и — "Спор". Вроде бы не сочетались строки из "Валерика" (1840 г.):

И с грустью тайной и сердечной
Я думаю: "Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?"

со строками из "Спора" (1841 г.):

...Боевые батальоны
Тесно в ряд идут,
Впереди несут знамена,
В барабаны бьют;

Батареи медным строем
Скачут и гремят,
И дымясь, как перед боем,
Фитили горят.
И, испытанный трудами
Бури боевой,
Их ведет, грозя очами,
Генерал седой.

Год назад в предисловии к лермонтовскому сборнику для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий я писал об этом противоречии как об одной из "лермонтовских загадок, порожденных разладом между мечтой и явью, между поэзией и военной службой". И лишь недавно, перечитав эти стихи, с удивлением увидел, что в них покорение Кавказа Лермонтов отнюдь не воспевае.

Разумеется, "Спор" полифоничен. Без полифонии стихи чаще всего либо дурная публицистика, либо плоское нравоучение. Но "Спор" не только полифоничен. В нем сразу несколько планов. Есть в нем и "пестрые уланы", и "боевые батальоны", и "знамены", и "барабаны", и с грозными очами генерал. Но за этим чисто декоративным фасадом возвышается издавна дорогой Лермонтову одинокий Утес: в "Споре" — Казбек. (Следует добавить, что, например, в "Бородине" "уланы с пестрыми значками" не были декорацией, потому что там другая война, война с захватчиком!)

Вот последние, как всегда у Лермонтова, к л ю ч е в ы е строфы:

И, томим злоедей душой,
Польный черных снов,
Стал считать Казбек угрюмый —
И не счел врагов.
Грустным взором он окинул
Плмя гор своих,
Шапку на брови надивнул —
И навек захит.

Здесь повторен тот же мотив, что и в более раннем стихотворении:

...Укор невежды, укор людей
Души высокой не печалит;
Пусть шумит волна морей,
Утес гранитный не повалит;

Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый,
И, кроме бури да громов,
Он никому не верит думь...

("Я не хочу, чтоб свет узнал...", 1837 г.) или в стихотворении "Утес" (1841 г.), печатающемся во всех изданиях непосредственно перед "Спором":

Но осталась старей след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задулмась глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

Не правда ли, Утес — тот же самый Казбек? Сходство этих образов не случайно. Только в "Споре" все куда трагичней, потому что Утес всего лишь одинок, а на Казбек напали в р а г и — "боевые батальоны", "знамены", "барабаны", генерал, и ясно, кому сочувствует Лермонтов. В "Споре" он продолжает начатую им в "Валерике" мысль о неразумности и жестокости войны:

Он отвечал мне: "Валерик,
А перевести на ваш язык,
Так будет речка смерти: верно,
Дано старинным людям".
"А сколько их дралось примерно
Сегодня?" — "Тысяч до семи".

"А много горцы потеряли?"
"Как знать? — зачем вы не считали!"
"Да! будет, — кто-то тут сказал, —
Им в память этот день кровавый!"
Чеченец посмотрел лукаво
И головою покачал.

Недаром Пастернак, подметив с удивительной зоркостью сходство Лермонтова с Толстым, в первом издании "Волн" (1931 г.) особенно выделил ненависть обоих к войне:

Война не сказка об Иване,
И мы ее не золотим.
Звериный лик завоеванья
Дан Лермонтовым и Толстым.

Знаменательно, что в последующих изданиях эта строфа была убрана: по-видимому, из-за перемены взглядов большевиков на имперскую политику России.

ИТАК, загадка Лермонтова, как я теперь понял, не в мнимом противоречии между его стихами, а в нем самом, в его личности. Какая невероятная магия была в этом некрасивом, сутуловатом, золотушном юноше, в восемнадцать лет пророчески сказавшем:

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Потому что вся жизнь Лермонтова — это поиск бури.

Ахматова утверждала, что он написал "Парус", глядя на Маркизову лужу, и это, по-моему, делает Лермонтова еще гениальней.

Как же он за свой такой краткий век стал знаковой фигурой не только российской словесности, но и самой российской жизни?! Какая сила переполняла его, если он целых полтора века оставался либо предметом подражания, либо отталкивания! Пастернак посвятил Лермонтову свою лучшую книгу "Сестра моя — жизнь", причем посвятил "не памяти Лермонтова, а самому поэту, как если бы он еще жил среди нас — его духу, до сих пор оказывающему глубокое влияние на нашу литературу" (письмо 1958 г.).

А Чехов, несомненно любивший прозу Лермонтова и во многом от нее зависящий, все-таки написал на него что-то наподобие пародии (штабс-капитан Соленый в "Трех сестрах").

Да и каждый из нас может вспомнить юношеские полночь-за полночь до хрипоты споры о Печорине и лирических людях. А такие споры бушевали задолго до нас и, надеюсь, после нас не смолкнут. Собственно, эта тема лишнего человека и развела в самом своем истоке двух гениев нашей литературы. В противоположность Толстому, целиком принявшему Лермонтова, Достоевский, срастив его, как сиама-ского близнеца, с Печориным (что не совсем справедливо), трансформировал этот образ в целую вереницу "подпольных" персонажей, увенчав ее чудовищным Ставрогинным.

Так почему же Лермонтов сумел так переворочить русскую жизнь, так очаровать или, наоборот, рассердить своих потомков? Думаю, разгадка этого волшебства прежде всего в мощи лермонтовского темперамента, словно бы зажатого, как горный поток, гранитными тесинами. Не оттого ли в его стихах звук часто опережает смысл и сам становится смыслом? В строчках:

А вы, надменные потомки
Известной подлости

прославленных отцов,
Пятую ребячью поправил обложку
Игрою счастья обиженных родов!

не сразу даже поймешь, кто и чьи "обломки", "попран", но это не так уж и важно. Стихи запомнены с ходу (как почти всегда бывает со стихами Лермонтова: они выучиваются раньше, чем их начинаешь учить!). Сам звук стиха объясняет, куда направлен гнев. Слова несутся, как глыбы в горной реке, и мы не обращаем внимания, какая глыба какую опережает. Потому что сила не в подробностях, а в самой стихии.

Эта лермонтовская стихия и определила почти всех последующих русских лириков. Заметить в поэте сходство с Лермонтовым означало не только указать на склад его личности, но и на самую мощь его дарования. Недаром Блока, как свидетельствует Корней Чуковский, называли "Лермонтовым нашей эпохи". И в самом деле, блоковские строки из "Ямбов":

...Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:



"Бела"

Иллюстрация художника Павла БУНИНА
к произведению М.Ю. Лермонтова

Простим угрюмство — разве это
Сокровище двигателя его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

в большей мере, чем даже к самому Блоку, относимы к Лермонтову.

В стихах многих наших поэтов возникал Лермонтов, и обычно в нелегкие минуты их жизни.

...Он, как поэт и офицер,
Был пулей друга успокоен.

(Сергей Есенин, "На Кавказе", за год до самоубийства.)

И за Лермонтова Михаила
Я отдам тебе строгий отчет,
Как сутулого учил могила
И воздушная яма влечет.

(Осип Мандельштам, "Стихи о неизвестном солдате", за год до ареста.)

Да и в более поздние времена образ Лермонтова остался столь же притягательным.

Его без пастырского слова,
Как будто пасынка земли,
На лошадей в грубо свиновом
сквозь пол-России провезли.

Он был источник дерзновенный
с чистейшим привкусом беде,
необходимый для вселенной
глоток живительной воды.

(Ярослав Смеляков, "Михаил Лермонтов", 1968 г.)

Был я в юности — вылитый Лермонтов.
Видно, так на него походил,
что кричали мне "Лермонтов!"
Лермонтов!

на дорогах, где я проходил.

Долго я ждал с мной этот возглас.
Но, на некий взойдя перевал,
перешел я из возраста в возраст —
возраст лермонтовский миновал.

Но как горькая память о юности,
о любви, о друзьях, о войне
все звучит это "Лермонтов!"
Лермонтов!

где-то в самой моей глубине.

(Юрий Левитанский, "Кое-что о моей внешности", начало 60-х гг.)

Но вечно — надо всеми подлецами,
жандармами, придворными льстецами,
которые бесчинствуют и лгут,
звучит с неумолчностью набата:

"Есть Божий суд, наперстники
разерата!",
и суд поэта — это Божий суд.

(Евгений Евтушенко, "Баллада о стихотворении Лермонтова...", 1964 г.)

Да и я, грешный, сочинил в юности строки, в которых пытался объяснить, чем дорог мне Лермонтов:

...Когда с собой приносишь
столько мужества,
Такую злобу и такую боль, —
Тебя убьют и тут-то обнаружится,
Что ты и есть та самая любовь.

Тогда судьба растроганно мачехой
Склоняется к простреленному лбу,
И по ночам поэмы пишут мальчишки,
Надеясь на похожую судьбу.

(Лермонтов, 1948 г.)

Однако сам Лермонтов, ставший одной из вершин российской литературы, выростив вне литературной среды. Слова Толстого "Я и Лермонтов — не литераторы", мне кажется, следует понимать не только как не "профессионалы", но еще в том смысле, что оба писателя всегда были одиноки, ни в какие литературные "тусовки" не входили. Писательское дело вообще одинокое.

ЖИЗНЬ Лермонтова была глубоко трагичной. Обычно в таких случаях последующие поколения воздают бунтарям должное. Но и посмертная судьба Лермонтова далеко не во всем благополучна.

На стене одного храма поэт изображен среди поджариваемых в аду грешников. Снимок этой стены я видел в "Огоньке" за октябрь 1939 г., когда отмечалось лермонтовское 125-летие. (Кстати, это был самый торжественный из его юбилеев. Сто лет — со дня рождения и смерти — пришили на две мировые войны, а полтора — тоже отмечались наспех: в первом случае снимали Хрущева, во втором — в стране назревал путч.)

Да и нынче Лермонтова нередко хулят: то за демона, то есть за богоборчество, то за излишнее свободолобие, то за "немытую Россию", то есть за недостаток патриотизма. А сколько его ругали за высказывание: "История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа..." (предисловие к "Журналу Печорина"). Между тем Лермонтов совершенно прав, и пока мы этого не поймем, в России сколько-нибудь сносная

жизнь не начнется. Но ведь у нас издавна клянутся в любви к народу, а отдельного человека ни в грош не ставят, и человеческое достоинство у нас тоже не в цене.

Да и некоторые поэты непочтительно обращались с лермонтовскими стихами. Некрасов, на мой взгляд, всем обязанный Лермонтову, ради минутной и весьма сомнительной пользы испортил "Казачью колыбельную песню":

Будешь ты чиновник с виду
И подлец душой,
Провожать тебя я выйду —
И махну рукой!

Почему-то эта некрасовская "перелицовка" оскорбляет куда больше, чем минаевская переделка "Бородинна", в которой автор пытается "ущижить" Толстого:

Пал Бонапарт, не ставши снова,
И пал от насморка пустого...
Не будь романа Льва Толстого,
Мы не судили б так толково
Про Бородинский бой!

Видимо, все дело в том, что "Бородинна" — эпос и само за себя постоит, а "Казачья колыбельная", как всякая лирика, беззащитна.

Но, к счастью, мало кто помнит некрасовскую пародию, а "Колыбельную" до сих пор поют, укачивая детей, и она неизменно вызывает светлые слезы радости.

И это еще одна загадка Лермонтова! Как ему, одному из авторов "Гошпиталья" и "Уланши", — доживших изданий военщины, удалось подняться до "Колыбельной", "Сна", "Пророка"?!

Долгое время я надеялся, что из афганской войны (тоже бессмысленной и поэтому схожей с покорением Кавказа, но закончившейся неудачей гораздо раньше!) к нам придет новый Лермонтов. Может быть, мои надежды еще сбываются. В конце двадцатого столетия, несмотря на невероятную скорость перемен и событий (или, наоборот, вследствие этой скорости!), люди взрослеют куда медленней, чем полтора века назад.

Но придет или не придет к нам новый Лермонтов, прежний жив и с каждым новым поколением воскресает, как сама природа, и ему не страшны ни революции, ни контрреволюции, ни оттепели, ни заморозки, поскольку он взрастал на самом дне военщины и, даже убитый ею, ее одолев.

Владимир КОРНИЛОВ